

я выбрал огрызок газетной страницы с фрагментом: стиснутые кулачки прижаты к маленьким грудям, узкие трусики, неаккуратный лист, на выброс, верхняя часть лица отсутствует, только губы в упреке кому-то, посягнувшему на беззащитность. Она сразу стала моей, я защищал ее от коварных преследователей и, израненный, молитвенно прощался с ней, избавленной.

— Так это была... — не выдержав ты, сжимая мою руку.

— Ну, потерпи еще: я привык бродить, казалась, без цели, как сам считал вначале, но как-то понял — цель есть, нечто, не оформляемое речью, из бесчисленных составляющих чего были угаданные — луч, возглас и таящееся — в листе, за поворотом, в окнах. Я тащился по раскаленной пустыне, там негде было укрыться от смертельного зноя, но, иссушенный и обезображенный ветрами и недугами, убедившись, что на планете для меня не существует ни клочка суши, проваливаясь в бездну, пробуренную водой в своей же массе, я немел, предчувствуя, и скоро убеждался, что за пеной в столбе брызг рождается радужный лик.

— Почему мы не побеседовали об этом раньше, — услышу я голос ушедшего Учителя и, после паузы, обниму тебя за плечи:

— Ты понимаешь, у меня нет ни одной картины маслом, но это, в сущности, не так: отсутствие их не абсолютное — они почти материализованы, хотя произнес и убедился: нет ни одной картины маслом.

— Но кто же ты? — резко воспрянешь ты (этюдник стучится о колонну Казанского собора: Невский так же гудит — что можем мы? Старуха на мосту хищно исследует ворох голубиных перьев: где же мякоть?).

— Ни разу нельзя обойтись без... — очнется критик.

— Я — пятилетний мальчик со зменной головой: моляба и страсть — согрей и полюби, дай припасть к своему сердцу, и я уйду, оставив в тебе свой яд, но не предаю имя. Не назову.

— Почему ты стал таким? Мне жалко...

— Когда каждый кусочек моего тела был предан пороку, когда я не искал разврат, а бежал его, когда я просто бродил по кладбищу, когда, наступив на тень, я вспоминал, да, когда омертвения случались похожими, когда любой эпизод... когда прозой и живописью становилось все видимое...

— Что же тогда? — спросишь ты, готовая слушать.

Виктор Кривулин

* * *

Поэт напишет о поэте.

Художник представляет нам себя, в малиновом берете, распахнутого зеркала.

От легкости, с какой он дышит, от грации, с какой парит, я съезжился, я желт, я выжат, я отдал кровь — а он царит.

Тону в любующемся взгляде:

я — это он, я — это свет, но резкий, падающий сзади, в затылок бьющий или вслед.

В лучах его второй природы я только тень, я только вход туда, где зеркало у входа, где женщина, смытая годы, ладонь по зеркалу ведет.

Песочные часы

То скученность, то скука — все тоска.
Что в одиночестве, что в толпах — все едино!
И если выпал звук — изменится ль картина
не Мира даже — нашего мирка?

И если ты ушел, бог ведаст в какую
хотя бы сторону — не то чтобы страну, —
кто вспомнит о тебе, так бережно тоскуя,
как берег — по морскому дну.

Обитый пробкой Пруст мне вспомнился наемдни,
искатель эха в области пустот,
последний рыцарь памяти последней —
резиновый фонарь он опустил под лед.

Подумать, как черно и холодно, куда
ни обратишь разбужнувшие очи!
Чем движется песок в часах подводной ночи —
одной ли тьмой? одним ли хрустом льда?

Что стоит человек, во прахе путешествий
пересыпаемый сквозь горловину сна, —
не горсточка ль песка, зачерпнутой со дна
залива, обнажившегося в детстве?

Что стоит человек — течению времен
единая струящаяся мера?
Согрета ли в руках запаянная сфера,
где памяти источник заключен?

И если так тепла — чьи пальцы согревали?
чьих — мутный оттиск на стекле?
Об этом помнил кто-то, но едва ли
я вспомню — кто. И как бы ни называли —
всё именем чужим, всё в спину, всё послед...

* * *

Есть пешехода с тенью состязанье:
то за спиной она, то вырвется вперед.
Петляющей дороги поворот,
и теплой пыли осазанье.

Так теплится любовь между двоих:
один лишь тень, лишь тень у ног другого, —
смешался с пылью полдня полевого,
в траве пылающей затих.

Но медленно к закату наклонится
полурасплавленное солнце у виска.
Как темная прохладная река,
тьнь, удлиняясь, шевелится.

Она течет за дальние холмы,
коснувшись горизонта легким краем.
И мы уже друг друга не узнаем, —
неразделимы с наступленьем тьмы.

Синий мост

где сиреневая мрела
перевернутой дугою
тень от Синего моста —
там совсем уже другое
состояние, и, стоя
изумленно и смиренно,
вижу новые места

не успеешь кончить фразу —
тень от синего моста
стала ржавой или рыжей.
и такая духота
все охватывает сразу,
что за маревом не вижу
дальше собственного глаза,

дальше синего моста

* * *

Больничное прощанье второпях.
Косящий снег. Выхватываю мельком:
подвешенная на цепях,
еще качается, качается скамейка.

Сестра моя, мне страшно повторять
над пропастью твоей болезни,
что нас касается живая благодать
и ангельская боль небесной песни.

Слова ли, штампы ли — им тесно и бело,
но горькая лекарственная сила
в них действует. — Полегче ли? Прошло?
— Чуть помолчи... Мне лучше... Отпустило.

Еще растерянность и мартовская смурь,
еще живешь, не оживая, —
но помнишь? — ласка... ласточка... лазурь —
лоскутья поэтического рая,

где только стоит голову поднять —
и от голубизны дыханье перехватит.
Халат, распахнутый, как ночная тетрадь.
— Откуда летят Бах? — Из форточки в палате.

Гобелены

Иное слово, и цветные стекла,
чужие розы витражей...
На гобеленах временно поблекла
гирлянда бледная длинноволосых фей.

Засох венки... Но были бы живыми —
всё не жили бы здесь,
где платив сизый пар в серо-зеленом дыме
неразличим, уходит с ветром весь.

Музейных инструментов мусикин
волноподобные тела
звучали бы для нас, как мертвые куски
когда-то цельного поющего стекла.

Как хорошо, что мир уходит в память,
но возвращается во сне
преображенным — с побелевшими губами
и голосом, подобным тишине.

Как хорошо, как тихо и проторно
частичей медленной волны
существовать не здесь — но в море иллюзорном,
каким, живые, мы окружены.

Когда фабричных труб горюют кипарисы,
в зеленых лужайках вьются, —
весь город облаков, разросшийся и сизый, —
вот остров мой, и родина, и связь.

И связь моя чем призрачней, тем крепче.
Чем протяженней — тем сильней.

К тому клонится слух, что еле слышно шелчет, —
к молчанию времеч, каналов и камней.

К тому клонится дух, чьи выцветшие нити
связуют паутиной голубой
и трепет бабочки и механизм событий,
войну и лютицу, ветер и гобой.

Так бесконечно жизнь подобна коридору,
где шторы темные шпалер
как бы скрывают Мир, необходимый взору...
Да что за окнами! Простенок ли? Барьер?

Лишь приблизительные бледные созданыя,
колеблемые воздухом своим,
по стенам движутся — лишь мука ожиданья
разлуку с нами скрашивает им.

Так бесконечно жизнь подобна ремеслу
застывших туч или холмов,
длинноволосых фей, упавших на колени
над кубиками черствыми домов...

Так хорошо, что радость узнавая
тоску утра ты оживит,
что невозвратный свет любви и любованья
когда не существует — предстает.

Рауль Дюфи. Праздник Моцарта в 1929 году

На юге Франции — не здесь, но где поют
топлятся стойкой легкой
на акварели,
где праздник Моцарта, разрозненный, безвидный,
и цвет, разбрызганный без цели,
и сверк бинюкля...

И не сейчас — но в довоенном равновесье,
между Версалем и Венсеном,
раскрыты ноты

для новой музыки, для похоронной вести,
для парусного поворота
страницы, сцены...

Но и не там и не тогда — спустя полвека
удешевленного «Скира» перелистаешь:
смотри-ка! — вот он,
рояль, грохочущий, как черная телега,
рояль в углу — и я за поворотом
стены — и стая

лисков, усеянных хвостатыми значками...
Лист неба, разграфленный телеграфом.
След самолета.
И запись нотная приподнята над нами —
но перечеркнута. И творчество — работа
в саду истории крованом.

Летописец

От сотворенья мира скудных лет
шесть тысяч с хвостиком. Итак, хвостато время,
Как пес незримый ходит между всеми.
Шесть тысяч лет, как дьяволово семя
взошло тысячелистником на свет.

И, наблюдая древнюю игру
малейшего, худого язычка
чадающей плоски — с тьмою, чьи войска
пришли со всех сторон, свалились с потолка,
прокрались тенью к белому перу,
запишет летописец в этот год,
обыльный ведами, пожарами и мором,
желанное пророчество о скором
конце Вселенной. Трижды крикнет ворон.
Запишет: «господи...» И, счастливый, умрет.

Шесть тысяч кирпичей связав таким раствором,
что (крыса времени, творение ничье,
источит до крови пещерное зубье,
кромсая стены...) инобытие
примет глина, ставшая собором,

где в основанье — восковой старик,
иставший, как свечка, в добром деле.
Как свечка, утром видимая еле,
как бы внимательно на пламя ни смотрели
глаза, каким рассвет молочный дым дарит,

Утро петербургской барыни

*Гипотетическое описание картона с эскизом
к неосуществленному жанровому полотну
художника Федотова*

Слава Кесарю! слава и господу в горних!
Барабанное утро. К заутрене колокол. Мышка в углу.
Печь остыла. Пришел истопник. Выгребают золу.
Возле каждых ворот возвышается дворник,
стоя спит, опершись на метлу.

Власть устойчиво-крепкая, в позе Паллады,
сй опорой копье, на груди ее — знак номерной.
Но в полярных Афинах под великопостной весной
ломит кости. Глядит из кивота распятий.
Занимается в толке обдерыш берестяной.

«Богородице-дево...» — начнет. И деву сennую
кличет (ах ты, какая досада, нейдет на язык
божье слово): Палашка! Потоками пяток босых
затопляет людскую, переднюю... (Так я тоскую
по утрам — ты бы знала! — пока не затих
гул таинственный в сердце, остаток ночного озноба.)
Человек состоит из предчувствий и смертных глубин —
то ли Гоголь об этом писал? То ли сказывал старец один,
возвратясь на покой от господнего гроба,
голубинный свой век ореолом венчая златым...

Одеваться, Палашка! В соборе, поди, уже служат.
Благовещенье нынче... за шторами льдины шуршат.
Сон я видела, сон треугольный: ограда, родительский сад —
но глубоко внизу, будто в яме, — а рвется наружу.
Как достать бы его? Как на землю поставить назад?

Я, бессильная, в белом, стою на коленях.
Наклоняюсь над ямой и слышу: из глубины
«Марья! Марья!» — зовут, и деревья уже не видны.
То ли мокрая глина внизу, то ли вроде сапожного клея
что-то вязкое... дышит... я в ужасе. Погружены

руки словно бы в тесто — и тесто вслухает.
В утесинье душевном проснулась. Лежу-то я где?
Па булыжнике улочном! Голая. В холоде и срамоте.
Надо мной наклоняется дворник, железной метлой помавает,
«Мусор, барыня», — плачет. И слезы в его бороде.

«Мусор, мусор...» — бормочет, меня, как бумажку, сметая.
Шелеста, просыпаюсь — неужто я смята в комок?
И зачем это снится? И холод, бегущий от ног,
отчего-то врывается в сердце ордою Мамай,
морем валенок, бурок, сапог...

Как там душно — внутри меня — как надышал!
Пелагея! Смотрю на тебя — и темно:
ты по-русски «морская»... что имя? Звучанье одно,
а смотрю на тебя — в океанские страшные дали
погружаюсь, тону, опускаюсь на дно...

Натюрморт с головкой чеснока

Стены увешаны связками. Смотрит сушеный чеснок
с мудростью старческой. Белым шуршит облаченьем, —
словно в собрание архонтов судилище над книгоцеем:
шелест на свитках значков с потаенным значеньем,
стрекот писмен насекомых, и кашель, и шарканье ног.
Тихие белые овощи зал заполняют собой.
Как шелестят их блокноты и губы слегка шелушатся...
В белом стою перед ними — но как бы с толпою смешаться!
Юркнуть за чью-нибудь спину... Ведь нету ни шанса,
что оправдаюсь, не лягу на стол натюрморта слепой!

Итак, постановка.

Абсолютную форму кувшину
гарантирует гипс. Черствый хлеб,
изогнув глянцевитую спину,
бельмо чеснока, бельевая веревка —
сообща составляют картину
отрешенного мира. Но слеп
каждый, кто прикасается взглядом
к холстяному окну.
Страшен суд над вещами,
творимый художником-Садом!

Тайно, из-за спины загляну;
он пишет любви — завещанье:
«ты картонными кушумами и овощами
воевала с распалом...»

Но отвернемся, читатель мой. Ветер и шелот сухой.
В связках сушеный чеснок изъясняется эллинской речью.
В белом стою перед ними... и что им? за что им отведу?
Да, я прочел и я прожил непрочную чернь человечью
и к серебряной легенде склонился, словно бы к пене морской.
Шелот по залу я слышу, но это не старость —
так шелестит, исчезая из лодки-ладони моей,
пена давно пересоших, ушедших под землю морей...
Мраморным облачком пара, блуждающим островом Парос
дух натюрморта скользит — оживает и движется парус.
Там не твоя ли спина, убегающий смерти Орфей?

И не оглянуться!

Но и все, кто касался когда-то
бутафорского хлеба, кто инл
пустоту, что кувшином объята, —
все, как черные губы, сомкнулся,
в молчанье художника-брата,
недаром он так зачернил
дальний угол стола.

Жизнь отходит назад
дальше, чем это можно представить!
Но одежда Орфея бела,
как чеснок. Шелеста и листая
(между страницами памяти
черствые бабочки спят),
шелеста и листая,
на судей он бельмы устает,
свой невнятный взгляд...